# Кому это нужно?

# Кир Булычев

— И кому это нужно? — спросил вежливо Николай, держа в широких ладонях зажженную спичку, чтобы я могла прикурить.

С Волги тянуло свежестью, из-за леса выполз, в ожерельях огней, пароход. С него доносилась музыка, одинокая пара танцоров нежно покачивалась под тентом на корме.

— В первую очередь науке, — ответила я. Ответ был глуп, но лучшего я не придумала. Ничего не нужно просто науке. Наука — это один из способов нашего общения с миром, наравне с поэзией. Следовательно... Но эту мысль я развивать не стала. Николаю приятен был сам факт беседы со мной, ученой женщиной из Москвы. Из клуба шли соседи, только что кончилось кино. Проходя мимо нашей лавочки, они присматривались, некоторые здоровались с нами. Вот это было Николаю приятно.

— Науке, разумеется, нужно, — сказал Николай.

«Любопытно», — подумала я. Когда-то я прожила в этой деревне три года, ходила здесь в школу и была немного влюблена в Николая, он был старше меня лет на десять, уже вернулся из армии и работал шофером. Прошло двадцать лет, и я стала совсем взрослой, вернулась на неделю к себе в деревню, потому что некуда больше было сбежать из Москвы, и оказалось, что Николай куда моложе меня. И не только потому, что он почти не изменился, даже не женился. Главное — он с первых минут, как я вошла в дом к бабе Глаше, признал мое старшинство. А я приняла это признание как должное.

— И все-таки, — сказал Николай, стараясь говорить научно, — должны быть практические применения. Иначе вам денег платить не будут.

— Было практическое применение, — сказала я. — Будут и другие.

— Расскажи.

Я рассказала Николаю, кратко, не в силах передать неловкого ощущения провалившегося фокуса, о той сессии в Пушкинском музее. Зал был неполон, но это ничего не значило, потому что сливки пушкинского мира были налицо. Саня Добряк, мой ассистент, торжественно налаживал аппаратуру, а мне все казалось, что я одета неподходяще для такого торжественного случая. По физиономии Добряка я понимала, что волнуюсь, — он очень чуток к моим настроениям. Мне остро не хватало черного фрака с розой в петлице. Зрители глядели на меня доброжелательно, но с некоторой скукой во взорах. Если я по ходу речи вперяла в кого-нибудь из них свой взор, моя жертва покорно начинала кивать головой, демонстративно соглашаясь с каждым моим словом. Я постаралась обойтись без формул и технических подробностей, я просто объяснила, что почерк человека так же индивидуален, как отпечатки пальцев, что в работе графологов, хоть их и принято обвинять в шарлатанстве (не без оснований), есть зерно истины — почерк связан с характером человека, душевным состоянием, воспитанием и так далее. Я рассказала о том, как мы получили заказ от криминалистов — заказ на первый взгляд фантастический, но не настолько уж фантастический в самом деле. Смысл его заключался в том, что, если почерк и в самом деле совершенно индивидуален, нельзя ли отыскать соответствия между ним и, скажем, внешностью человека. Я призналась уважаемой аудитории, что на настоящем этапе этой цели нам добиться не удалось, хотя мы не теряем надежды. При этих словах я нечаянно кинула взгляд на Добряка и обнаружила, что мой молодой друг изобразил на лице полную уверенность в успехе наших трудов и старается, гипнотизируя зал, убедить в этом аудиторию.

Покончив с общей частью, я поведала пушкинистам суть наших достижений: нам удалось, худо-бедно, нащупать связь между почерком и голосом человека. Мы понимаем, что до окончательной победы еще далеко, но так как литературоведы, прознав о нашей работе, обратились к нам с просьбой продемонстрировать ее, то вот мы явились к уважаемым специалистам, чтобы они проверили, убедились и так далее.

Когда я закончила, пушкинисты зашевелились, закашляли, а я, поддавшись тщеславию, предложила желающим выбрать любой из текстов, написанных рукой великого поэта, для демонстрации. Фотокопии текстов лежали на столе, мы старательно выбирали черновики без правки.

После минутной заминки из первого ряда поднялся старик вальяжной внешности, наклонился над столом, вытащил из кипы один из текстов, и я поняла, что он робеет, как студент, достающий на экзамене билет. Старик пошевелил губами, читая текст, затем кивнул и сказал вслух:

— Подойдет.

Саня ловко соскочил со сцены, принял текст и передал мне. Он предоставлял мне честь самой нажать кнопку.

Я вложила листок в сканирующую рамку, настроила динамик, нажала нужные кнопки — сейчас у меня из рукава вылетит голубь.

Аппарат наш, далекий от совершенства, поднатужился и чуть хриплым, быстрым, высоким голосом, как-то равнодушно и неодушевленно, принялся читать стихи. Пушкинисты слушали внимательно, склонив головы в разные стороны, и, по-моему, всем своим видом старались убедить меня, что им уже приходилось слушать голос Пушкина, хотя могу поклясться, что среди них не было ни одного человека старше ста пятидесяти лет.

Закончив строфу, великий поэт вздохнул и замолк.

Пушкинисты переглянулись, размышляя, аплодировать или нет. Я понимала сложность их положения. Если им показали научный эксперимент, то хлопать не положено. Если же это был просто фокус, можно и ударить в ладоши.

В результате кто-то из них неуверенно хлопнул, затем другой, третий — и с облегчением зал наградил нас с Сашей жидкими аплодисментами.

Затем нас тепло поблагодарили, сообщили, что наше достижение открывает перспективы, и пожелали дальнейших успехов. Выполнив свой долг, пушкинисты разошлись по домам трактовать неопубликованные строки великого поэта. А мы с Саней собрали аппаратуру и поехали обратно в лабораторию.

По дороге я произнесла небольшой монолог, призванный утешить Саню, а может, и меня саму. Я сказала, что специалисты, перед которыми мы сейчас выступали, привыкли считать себя монополистами в любой области знания, причастной к Пушкину. То, чего они не могут, они отвергают как ненужное. Голос Пушкина им не нужен. Они не могут извлечь из него пользу для пушкинистики...

Я была несправедлива к специалистам, но не могла справиться с обидой. Лучше бы они обошлись без аплодисментов, а задавали вопросы.

Вот все это я и рассказала Николаю.

— Ничего, Лера, — утешил он меня. — Скоро и лица научишься по руке угадывать. Тогда милиция тебе спасибо скажет. Только не ошибись, а то невинного привлечете.

— Спасибо, — сказала я. — Комаров сегодня много. Пошли домой.

Баба Глаша ждала нас пить чай. Мы больше не говорили о науке. Баба Глаша словоохотлива и не терпит конкуренции.

Через час Николай ушел к себе, а я легла спать за занавеску, привычно глядя на стенку, густо увешанную репродукциями из журналов и многочисленными семейными фотографиями, бурыми от старости, с лицами в основном неразборчивыми и одинаковыми — вот умрет баба Глаша, и никто уже не будет знать, кто эти люди, строго глядящие вперед. И они умрут как бы еще раз в людской памяти.

Правда, кое-кого из них я знала. Вот моя мама, двоюродная сестра бабы Глаши, она сидит на коленях у моей бабушки. Такая же фотография есть у меня в альбоме. А вот Антон — Глашин муж, он погиб на фронте. Он в разных видах: молодой, курчавый, голова к голове с бабой Глашей — это их свадебная фотография. Вот он, облысевший и худой, в военной форме начала войны. Последний снимок...

— Я свет тушу, — сказала баба Глаша. — Ты не возражаешь?

— Тушите, — сказала я. — Спокойной ночи.

Баба Глаша долго ворочалась, вздыхала.

— Не спится? — спросила я.

— Не спится, — призналась баба Глаша. — Мне много сна не надо. Если б не ты, я бы пошила немного.

— Мне свет не мешает, вы же знаете.

— Порядок нужен. Я вот сколько лет одна живу, а все не привыкну. При Антоне у нас порядок был. Ложились по часам, вставали тоже. Я по молодости ворчала, а теперь понимаю: прав он был.

— Приезжайте к нам в Москву, мы всегда рады будем. А то все обещаете, а никак не соберетесь.

— Как-нибудь соберусь. Сколько лет с места не трогалась. Чувство у меня есть, ты знаешь.

Я знала. Все у нас в семье знали, и в деревне все знали. Антон пропал без вести. Похоронки на него баба Глаша так и не получила. Вот и казалось ей, рассудку вопреки, что он, может, еще вернется. Она никуда из деревни не уезжала, даже дом никогда не запирала. И не уходила из дому, не оставив еды в печи и свежей заварки в чайнике — Антон был большим ценителем чая. И не поедет баба Глаша в Москву — никогда, до конца дней, не покинет своего поста... Потом я заснула.

Утром проснулась и первое, что увидела, открыв глаза, веселый взгляд курчавого Антона на свадебной фотографии. И его же, другой, усталый взгляд на фотографии военной. И подумала, что погиб он, когда был мне ровесником. И с тех пор прошло куда больше лет, чем он прожил.

Баба Глаша готовила, услышала, что я встаю, сразу начала собирать на стол. Я прошла в сени умыться. И оттуда, приоткрыв дверь, спросила:

— Баба Глаша, у тебя письма Антона сохранились?

— Какие письма?

— Ну, писал он тебе с фронта, например?

— Два письма были. И все, как отрезало.

— Достань.

— Зачем тебе?

— Нужно.

Мы сделали голос Антона. Голос оказался низким, строгим и очень усталым. Потом Саня Добряк записал его на пластинку — у бабы Глаши есть проигрыватель.

Через месяц я получила письмо от Николая. Я вынула его из ящика, спеша на работу, и прочла уже в лаборатории.

«Дорогая Калерия!

Кланяется тебе известный Николай Семенов. Все собирался тебе раньше написать, да дел много, и писать было нечего. У нас все по-прежнему, только вот твоя пластинка произвела сильное впечатление. Глафира вторую неделю не просыхает, слезы льет, говорит, что ты ей жизнь вернула. Боюсь, заиграет она пластинку — готовь новую. Она теперь как алкоголик, может, и зря ты ей такой подарок сделала...»

Дочитать я не успела. Пришел вальяжный старик, в котором я узнала пушкиниста, выбравшего для прослушивания текст поэта. У пушкиниста была светлая идея, которая привела Добряка в восторг. Он принес с собой совершенно перечеркнутый черновик Пушкина, в котором вот уже сто лет специалисты стараются угадать две строчки. Пушкинист решил попробовать зачеркнутые строчки на нашей машине — а вдруг произнесет их вслух великий поэт, и мы догадаемся.

Я не очень верила в успех, но спорить не стала. Саня Добряк принялся готовить аппаратуру, а я дочитала письмо.

«...Просила она тебе привет передать, обещает в Москву приехать, только, наверно, обманет. И вот ее точные слова: „Как по телефону, ну точно как по телефону“. Это она про голос Антона. Помнишь, я тебе вопрос задавал — кому это нужно? Теперь получил я наглядный пример и беру свои слова обратно. Даже сам к тебе имею просьбу: сделай пластинку для меня. Маленькую. Записку к пластинке прилагаю. Записка эта пролежала у меня двадцать лет.

Остаюсь с уважением, Николай».

Я развернула пожелтевшую записку, испещренную круглыми еще, детскими буквами. «Коля, — было написано там, — тебе кажется, что я еще слишком молодая, чтобы ты обращал на меня внимание. Это не так...»

— Калерия Петровна, — сказал пушкинист. — Вы только послушайте!

Только тогда я догадалась, что аппарат работает и знакомый мне голос Пушкина то взметывается почти фальцетом, то пропадает, зачеркнутый в черновике.

— Только послушайте!

— Еще раз? — спросил Добряк.

— Разумеется. Хотя нет никакого сомнения, что вторая строка начинается со слов «тихий гений». И спорить бессмысленно. Он же лично подтверждает!

А когда осчастливленный пушкинист ушел, я обратилась к гордому победой Добряку:

— Прокрути эту записку.

— Тоже Пушкин? — не глядя на записку, спросил Добряк.

— Нет, — сказала я.

Все еще переживая победу над спесивой пушкинистикой, Саня включил машину.

«Коля, — раздался детский голос, дрожащий от слез. — Тебе кажется, что я еще слишком молодая, чтобы ты обращал на меня внимание. Это не так...»

— Что еще такое! — воскликнул Добряк. — Что за детский сад? Что за любовный бред?

— Ладно, — засмеялась я. — Давай записку обратно. Но в будущем не советую оскорблять любимую начальницу. Учти, что она не всегда была взрослой.

— Чтобы вы? Так? Унижались перед мужчиной?

Добряк был в гневе.

— Мне было пятнадцать лет, — сказала я виновато. — А он был настоящим шофером.